

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Простая жизнь

Аннотация

«...Всегда я была гордая и упрямая. Да и то сказать, будь я смиренная, не умей сама за себя постоять – пожалуй, и на свете бы теперь меня не было. Я ведь «казенная», из Воспитательного дома, а «казенные дети», пока вырастут, могут всего натерпеться. Отдают их еще крошками в деревню – тут около Петербурга, больше к чухнам; хорошо, если попадется добрая мамка; а у иной своих пять человек – где же о чужом ребенке заботиться...»

Содержание

I	4
II	6
III	8
IV	11
V	15
VI	19
VII	23
VIII	26
IX	32
X	37
XI	41

Зинаида Гиппиус

Простая жизнь

I

...Всегда я была гордая и упрямая. Да и то сказать, будь я смиренная, не умею сама за себя постоять – пожалуй, и на свете бы теперь меня не было. Я ведь «казенная», из Воспитательного дома, а «казенные дети», пока вырастут, могут всего натерпеться. Отдают их еще крошками в деревню – тут около Петербурга, больше к чухнам; хорошо, если попадетсЯ добрая мамка; а у иной своих пять человек – где же о чужом ребенке заботиться.

Я до восьми лет горя мало видела. Моя кормилица-чухонка была хорошая, меня любила; и я ее любила, матью называла. Она воспитывала меня по-божьему.

Умерла чухонка – кончилось мое привольное житье. Ее сестра стала нас с братом Андрюшей всячески тиранить и мучить. Андрюша тоже воспитанник был, не родной мне брат, названный. Новая хозяйка наша Бога не боялась и людей не страшилась. Бывало, зимой холодно, одежды никакой не давала, по снегу босиком бегаем; и рубашки нам по четыре раза в год меняла. Летом мы вместо пастухов были: овец, свиней пасли; а придут заморозки – до свету гонят нас на

поле, картошку копать. Холодно, темно... Только и радости, что скрадем у хозяйки спичек, разведем на поле огонек и печем картошку; да и то оглядываемся, не идет ли кто.

Прошло три года, мне десять лет минуло. Всех десятилетних отбирают и везут ближе к Петербургу, чтобы по-русски научились. Я по-русски ни слова не знала, все по-чухонски. Иным воспитанникам и не хочется уезжать, привык-нут, а нельзя – надо. Набор этот бывает всегда осенью, после Покрова.

В самый Покров приехал окружной врач, строго наказал воспитателям привести нас всех, сколько назначено, в одно время в окружной лазарет.

До лазарета считалось двадцать пять верст. Приехали мы, идем в приемную комнату – а там плач, шум: наши названные отцы и матери плачут, провожают. Иных как своих родных воспитывали.

Когда мы остались одни, начальник проверил, все ли явились; нас было много, двести девятнадцать человек.

Отсюда всех везут в Петербург, в Воспитательный, там уж назначают кого куда.

Рано разбудили нас на другое утро. Доктор дал билеты казенные, велел не потерять и читал наставление, чтобы слушались мы своих будущих хозяев; да еще роздал нам от казны по яблоку и по мармеладинке.

Увезли нас.

II

Я попала в богатый дом. Ребятишек было человек пять, все маленькие. Хозяйка мне сразу не понравилась: лицо хитрое, злое. Я потом про себя ее ведьмой звала. Окружной врач велел меня чисто одеть и пускать каждый день в школу. Не понравился хозяйке такой приказ: я ее ребят нянчила, домашнюю работу справляла.

До школы было девять верст. Собрались все мальчики и девочки рано, зашли за мной, а я и спроситься не смею; хозяйка сердита, ходит по избе, ворчит. Один мальчик сказал ей:

– Ты, тетка Марья, пусти ее сегодня; сегодня все должны прийти, записываться будут, а потом как тебе угодно.

Она крикнула мне с сердцов «ступай!» А как идти? Холода сильные, надеть вовсе нечего. Ну, однако, надела лохмотье какое-то, пошла.

Началось мое мученье: учитель велит непременно каждый день приходиться, а тетка из дому не пускает. Урывками только и могла учиться: но я не ленилась и скоро стала все по-русски понимать, цифры узнала и буквы. На экзаменах очень стыдно бывало: все приоденутся, одна я в лохмотьях, словно цыганка.

Так бегала я в школу, босая и неодетая, две зимы, а на третью сильно заболела. В лазарете пришлось целый год про-

лежать: сначала корь была, а потом ноги все ломило. Хозяева мои за это время ни разу не навестили меня, не пришли узнать, жива ли я.

Я поправилась, назначили меня на выписку. Я была рада; думала, вот снова поеду на прежнее место, буду в школу ходить, хоть понемногу ученье продолжать.

Но не вышло по-моему. В последний день сказала мне сиделка, что я опять «переводная»: к другим хозяевам, в колонию, к немцам меня назначили. Горько мне стало: я всегда слышала, что колонисты злые, и питомцам у них хуже живется.

Приехал за мной колонист; с виду он был добрый, но я ему все-таки не очень-то верила. Хозяйка оказалась не сердитой; она была немножко помешана, в хозяйство не входила; я одна должна была обо всем заботиться. В школе учиться уж не пришлось.

В колонии я отдохнула немного от моих прежних мытарств и поправилась.

III

Мне исполнилось семнадцать лет; взяли меня из колонии в Петербург, в «казну», то есть на казенную службу в институт. Из питомок каждый год отбирают в казну положенное число. В институте мне понравилось, и занятие свое я скоро поняла: меня определили в бельевую, смотреть за бельем.

Подруг много, весело; у нас, – девушек, и вечера бывали. Мы танцевать любили и умели: как у воспитанниц танцкласс – мы в соседнюю комнату, и все, что им учитель показывает, мы перенимаем. Привыкла я тоже книжки читать; все девушки романы потихоньку читали. Один раз мне попался страх какой интересный: «По локоть руки в золоте, по локоть руки в крови». Я этот роман все по ночам читала, чтобы наша кастелянша, мадам Рязанова, не увидела. Она не любила.

Сидела я раз вечером в девичьей – работу мы покончили – вдруг приходит моя знакомая, Анна Ивановна. Я уж ее целый год не видала, мы с ней никогда особенно не дружили. Не знаю, как это она меня вспомнила.

– Пойдем, Паша, ко мне, посидим, чайку напьемся. Тут недалеко, на Николаевском вокзале.

Пошли мы. Ее названный муж был дома, я его раньше не видала, ну – познакомились.

Пока чай готовили, я села у окна.

Дверь отворилась. В комнату вошел незнакомый человек, снял пальто, тихо сказал «здравствуйте», и сел к столу. Анна Ивановна засуетилась, угощает его, но меня ему не отрекомендовала. Я узнала потом, что это обер-кондуктор с Николаевской железной дороги; он у Анны Ивановны комнату снимал, жилец ее был.

С первого взгляда он мне показался уже немолодым, некрасивым: темные усы висели книзу, волосы спереди подрезаны, сам высокий, худощавый... Но тихий и кроткий разговор его я слушала с удовольствием.

Помню, вскоре после того мы его на Троицу на бал пригласили. В этот день у девушек всегда бал: двух гармонистов зовут, – большие у них такие гармонии, – угощенье бывает и танцы в «круглом саду».

Вечер был теплый, ясный; молоденькие листочки едва развернулись, дни стояли длинные, ночи почти не было – сумерки. Все же, когда чуть стемнело, ушли танцевать в девичью; мы с ним одни остались в саду, долго гуляли между деревьями.

Он мне рассказывал о себе, говорил, что любит спокойную жизнь, семейный угол... Я молчала; мне было хорошо с ним, и казалось, что я его давно знаю, давно слышала такие речи, тихие и разумные.

Мой новый знакомец, Борисов, кротостью вошел в мое сердце. Я его не сразу полюбила. То нравится он мне, то будучу в нем что-то хитрое и злое, страшно мне делается,

дальше от него быть стараюсь.

IV

Началась у нас переписка, свиданья пошли. Мы часто виделись у Анны Ивановны. Позовет она меня к себе, а сама сидит-сидит – вдруг вспомнит: «Ах, Боже мой, ведь меня кума Пелагея Васильевна зйти сегодня зачем-то просила! Ты погоди, Паша, я сейчас вернусь».

И уйдет. А я радовалась, это время мы с жильцом, Николаем Ивановичем, вдвоем просиживали. Я уж тогда начала к нему очень привыкать. Чуть день не повидаю – скучно, и работать не могу. Он и в институт часто приходил. Я о своей любви ему никогда не говорила, держала себя гордо.

Раз – это было уж в конце мая – он целый день не приходил. К вечеру, часов в восемь, я не вытерпела: дай, думаю, пойду к Анне Ивановне – может, и он с поезда вернулся.

Погода стояла славная, тепло, тихо. По улицам и огней не зажигали, совсем день, светло. У Анны Ивановны посидела я немного – гляжу, идет он.

– Здравствуйте, – говорит, – как здоровье? Душевно рад вас видеть. Я сегодня целый день ездил, вот только сейчас с поезда.

Пока мы там сидели, я все время над ним смеялась, дерзкие речи говорила, сама не знаю отчего. А он был самолюбивый: вижу я, побледнел, губы кусает – рассердился. Стало мне его жалко, однако я этого не показываю, собираюсь

домой.

Анна Ивановна в разговоре нашем его сторону держала, спорила со мной. Он как будто повеселел.

– Позвольте, – говорит, – проводить вас, Прасковья Александровна; вот и Анна Ивановна пойдет, погода очень прекрасная.

Мы вышли.

Стало свежее и как будто стемнело; часы на вокзале показывали одиннадцать. Мне было весело и легко. Николай перестал дуться, шутил и смеялся.

Мы проходили по Лиговке; вдруг слышим – музыка играет, окна освещены.

– Что это? – спрашиваю я у Николая.

– Это гостиница «Дунай». Хорошая гостиница. Хотите, зайдем? Выпьем чайку, музыку послушаем. Право, зайдем? Ведь вам еще не поздно, Прасковья Александровна...

Я не знала, что сказать; заходить мне не хотелось, а отказаться – его было жаль: он так просил, и так я его обижала.

Вдруг Анна Ивановна говорит:

– Зайдем, пожалуй, отчего не зайти? Вы нам пару пива поставите. Идешь, Паша?

Я молча пошла за ними. Мы отворили парадную дверь и стали подниматься по лестнице на второй этаж. Оглянулась я, а моей Анны Ивановны нет как нет.

Я испугалась.

– Где ж Анна Ивановна?

– А она, кажется, своего мужа встретила в дверях. Она сейчас придет...

Нас провели в номер. Это была небольшая узкая комната в одно окно. Пестренькая занавеска была спущена. Такая же пестрая перегородка разделяла номер на две половины. Перед диваном стоял стол, покрытый белой вязаной салфеткой. Я не хотела садиться, прохаживалась по комнате и все спрашивала, где Анна Ивановна.

– Право же она встретила Василия Дмитриевича и пошла с ним, – сказал Николай. – Она сейчас придет сюда. А вернее всего, что они тут, в соседней комнате. Человек! две бутылки меда! Пива тоже подай. Вы что пьете, Прасковья Александровна?

– Я ничего не пью, – право, мне ничего не нужно.

– Ну, я один буду пить за ваше здоровье. Только присядьте со мной.

Я села на диван. Принесли меду. Сначала я видела, как он тихонько улыбался, наливая себе стакан, потом сразу сделался серьезен, поднялся со своего места и сел рядом со мной. Я посмотрела на него: он был бледен, а в глазах его мне почудилось что-то злое и жестокое. Я испугалась и хотела встать, но он удержал.

– Полюбите меня!

– Послушайте, право, я удивляюсь: не глупый вы мужчина, и вдруг такие у вас ни к чему не нужные мысли. И где это только Анна Ивановна?

Он помолчал.

– Я слышал, Прасковья Александровна – за вами артельщик один очень ухаживает?

– Правда, ухаживает. А вам-то что? За мной не один он ухаживает.

– Вот это-то мне и не нравится.

Николай крепко обнял меня. Я вскрикнула, хотела вырваться, но он держал меня и, наклонившись близко, произнес:

– Не кричи, все равно дверь заперта...

Помню одно, что после я, как безумная, выбежала оттуда на улицу. Я не хорошо понимала, что со мной, и не знала, что делать. По счастью, я захватила с собой из дому два рубля; не раздумывая долго, я пошла на вокзал, взяла билет и уехала к дяде в колонию. Он не удивился: из института меня часто пускали к нему гостить. Только там я немножко одумалась и начала понимать, что со мною случилось.

V

Николай стал мне писать письма, но я их не читала; разорву на мелкие кусочки и отошлю назад. И слышу я – все он своим знакомым про меня рассказывает; должно быть, очень уж сердился, что ничего со мной не может поделать и что писем его не принимаю.

На душе у меня было горько и тяжело; я его все-таки любила.

Так минуло лето. Пришел сентябрь, дожди; работы прибавилось; понемногу я начала привыкать к мысли, что никогда его не увижу. Дурные его поступки я забыла.

Вдруг все сразу переменялось.

Стала я прихварывать, все мне неможется, – то там болит, то здесь; с лица осунулась, пожелтела. Надо, думаю, к доктору сходить. Долго собиралась, наконец пошла.

Посмотрел доктор: «Это, – говорит, – болезнь не опасная...»

Я сначала не поняла, – ну, он пояснее сказал. Вышла я от него, и сама себе удивляюсь, как то я еще иду; кабы в то время случилось в Лиговке воды побольше – может, меня теперь и на свете бы не было.

Что делать? Вот когда настала моя забота; целые ночи напролет я не спала; лежу с открытыми глазами, смотрю в темноту и думаю: что делать?

Одно оставалось – на место идти.

Я говорила знакомым, что выхожу из казны, просила место мне приискать, но место не находилось.

Прошла неделя, и стало мне не в мочь. За эту неделю душа у меня изболелась. И я решила про себя: пусть будет что будет; хоть и стыдно это – напишу Николаю.

Написала коротенькое письмо, просила прийти завтра в четыре часа.

Целый вечер и следующее утро я ходила бледная, испуганная.

– Придет или не придет? Он пришел. Мы были одни.

Николай обнял меня крепко. «Прости меня, Паша, прости»... и еще что-то тихо говорил, я уж не разобрала, горько плакала; сразу воротилась моя любовь к нему, я позабыла обиды. Вижу, не совладать все равно с собою: пусть уж, думаю, пусть люблю...

Поуспокоились мы немножко, – он спрашивает, как мне живется.

Я ему всю правду сказала.

Он задумался.

– Знаешь что, Паша? Тебе тут оставаться не приходится.

– А как быть-то? Место на воле скоро ли выйдет? Да и искать в таком моем положении не знаю где.

– Совсем тебе никакого места не нужно, а найму я комнату, переходи жить. Теперь, конечно, мне свадьбу играть расчету нет, жалованье маленькое, мать на руках. К весне вид-

нее будет. Я тебя так не оставляю.

– Не пойду я к тебе. Я всегда тех осуждала, кто на легких хлебах живет – сама не пойду.

– Эх, Паша, теперь ведь уж все равно, теперь тебя кто ж возьмет? Тебе кроме меня ни за кого не идти. Да и не ты первая, не ты последняя. А я тебя обижать не стану, вот ей-Богу же не стану. Так я пойду комнату искать.

Он встал.

Я не знала, что ему сказать; на душе было невесело, думалось, нехорошо я поступаю, да вспомнила, что с ребенком некуда идти – и согласилась.

Вечером, дня три спустя, сидела я в девичьей, чай был накрыт; вдруг входит Борисов.

– Милости просим, – говорю я, – как раз к чаю.

– Ох, Паша, не до чаю мне; я, – говорит, – место потерял. Я вся обомлела. Смотрю на него, а он бледный и сам будто не в себе.

– Отчего так? – спрашиваю.

– Да так уж, случилось такое дело. Теперь не знаю как мне и быть. Главное – мать-старуха, куда я ее дену?

У меня глаза были полны слез. Хотела сказать ему, что пусть бы мать пока у меня погостила – да не посмела; я сама была бездомная.

Просидели мы с ним так минут пять, и говорит он наконец, все невеселый:

– Вот что я, Паша, надумал; ты уж, пожалуйста, не сер-

дись, переезжай ты пока к моей сестре или к брату. У них есть хороший, чистый угол в дворницкой. Я это дело устрою. Там мне за тебя и платить ничего не придется. Что ж ты, согласна?

Подумала я немного:

– Хорошо, – говорю, – Николай, перееду, согласна.

VI

Рано утром я встала, вздумалось к Скорбящей Божией Матери помолиться поехать: может, Господь ему и пошлет.

Оделась я, села на конку у Николаевского вокзала и отправилась. Это ведь недалеко, за Невской заставой, пять копеек стоит. Там прежде, рассказывают, только одна заброшенная часовня была, Николая Чудотворца, а образ Божией Матери так, сбоку стоял. И висела там кружка, а в кружке грошики медные, старинные. Случилась летом гроза. Молния ударила в часовню и попала прямо в кружку. Она рассыпалась, но грошики на землю не попадали, а все к образу Божией Матери так и прилипли. До сих пор они там. Пришел сторож, увидел чудо. И узнали, что эта икона чудотворная.

С того времени там совершились многие исцеления, и, говорят, если задумать что и поехать Божией Матери помолиться – непременно сбудется. Там теперь церковь большая, богомольцев много, приводят больных.

Стала я в уголку, свечку купила, помолилась хорошенько – и сделалось у меня на душе посветлее. Может, думаю, Господь ему и пошлет.

Два дня минуло – идет Николай веселый.

– Ну что? – спрашиваю.

– Да что, слава Богу, на место поступаю. Тут на углу Гороховой и Семеновского, дом Королева, знаешь? Так я к этому

Королеву иду, вроде как в управляющие.

– Ну, слава Богу, слава Богу! Я за тебя у Скорбящей молилась.

– Я и сам Богу молился. Без Бога разве можно? Без Бога нам бы помирать надо. Я вчера в часовню пелену свез и молебен отслужил – вот Господь-то и посылает. Конечно, жалованья много сразу не дадут, придется сначала как-нибудь перебиваться, да все же пристроен. А про тебя я сестре говорил, – хоть завтра переходи. У меня теперь хлопоты будут по новому месту – я, может, не скоро зайду, ты не скучай.

Надо было выходить из института. Сняла я казенное платье, попрощалась со всеми, поплакала, в канцелярии мне выдали аттестат и немного денег. Кончилась моя беспечная жизнь.

Муж Николаевой сестры, Платон, служил старшим дворником в Семеновском полку; к ним в дворницкую я и переехала, а они с Николаем условились ничего с меня за угол не брать, и обедала я с ними; только это даровое мне хуже дорогого обошлось: Даша, жена Платонова, все платья у меня выпросила, какие были, а отказать совестно, ела-пила с ними.

В дворницкой сыро, темно, кругом лавки нечистые. Днем я все одна да одна. Даша, и та редко дома бывала, особенно в праздник. Часу в десятом придет Платон пьяный, колотить начнет, безобразия пойдут разные... Уж, думаешь, пусть бы дольше не приходили; одной-то хоть и страшно, и

скучно, а все-таки лучше.

Время шло, а о Николае не было ни слуху, ни духу. Но я не беспокоилась: пусть, думаю, устроится на новом месте, – придет.

Но вместо Николая явился ко мне раз приятель его, Митя. Этот Митя у него и проживал, не знаю уж, зачем Николай вел с ним дружбу. Его из полиции со службы выгнали; хитрый он был человек, враг между нами; ссорил нас часто; мне про Николая все передавал, а ему про меня наговаривал. Душу имел самую подлую, а видом был красавец мужчина: черные волосы вьются, глаза синие с поволокой, руки как у барина. Николаю нравилось, что этот самый Дмитрий Маткин умеет всякую просьбу написать, проведет и выведет, к себе в адвокаты его готовил.

Я Митю встретила ласково.

– Здравствуйте, здоровы ли? Давно вас не видно. Присядьте, гость будете.

– Да что, Прасковья Александровна, я вам весть принес. У Борисова вчера благословенье было. Слезно он просил вам не говорить, да я уж, вас жалеючи, не утерпел.

– Господи! – говорю, а сама побледнела, – с кем же это?

И я узнала, что Николай давно уж невесту себе присмотрел, племянницу придворного поставщика, Лизку. Она была с деньгами, из себя такая дурная, ее за него бы не отдали, да уж влюбилась очень. Митя мне все рассказал.

– Что же вы, Прасковья Александровна, теперь предпри-

нять намерены? Если желаете, я могу выяснить, что именно, ввиду вашего положения...

Я встала, перекрестилась на образ и говорю:

– Ничего я делать не намерена, ничего мне не нужно. Господь с ним! А вы, Дмитрий Васильевич, уходите пока.

Митя ушел, я осталась одна.

Ту ночь я вовсе спать не ложилась. Ребенка было жаль. В Воспитательный очень не хотелось отдавать. Знала я, как там сладко.

VII

Я сидела вечером одна у окошка; в дворницкой никого не было. На дворе еще не совсем смерклось, а кругом меня давно тьма. Слышу, вошел кто-то, у двери возится, нейдет ближе.

– Кто там? – спрашиваю. Молчит.

Я испугалась.

– Да кто же это? отвечайте!

Вижу, подходит ко мне.

– Не бойся, Паша, это я! – говорит. Узнала я голос – стою, двинуться не могу. Он снял шубу, сел к столу.

– Темно тут у тебя, не видать ничего.

– Сейчас вот... огонь засвечу...

Опомнилась я немножко, отыскала на столе спички, а зажечь не могу, руки дрожат.

– Постой, я зажгу, – говорит.

Взял у меня тихонько коробку, лицо свое осветил. И как увидела я его тут в первый раз – обрадовалась, позабыла, что, может, это он прощаться со мною пришел; захотелось приласкаться к нему, прежнее воротить... Да вовремя удержала себя, стою, молчу.

Он зажег лампу, повесил ее, сел.

– Ну что ж, здравствуй, Паша.

– Здравствуй.

– И не спрашиваешь, что долго не шел, где гулял, какие дела делал?

– Что мне! Про то ты сам знаешь, а я тебя не касаюсь.

– Ты сердишься на меня, Паша?

– Не сержусь я; видит Бог – нет у меня зла к тебе.

– Паша, скажу по правде, я вот за каким делом пришел: завтра у меня свадьба; я и сам не рад теперь, что затеял, отказаться уж не могу; так дай ты мне расписку, что не препятствуешь браку. Я, право, и сам не рад, да делать-то уже нечего. Вот, расписка у меня готова, тебе только подписать.

Он стал проворно рыться в карманах, наконец вытащил небольшой клочок почтовой бумаги и положил на стол. Я молчала.

Он посмотрел на меня, подождал, что я скажу.

– Ну, так как же, Паша, расписку-то? Ты поверь, я бы рад отказаться, да уж нельзя. Подпишешь, что ли?

Пересилила я себя, слезы удержала, – отвечаю ему:

– Я обещалась себе и Богу – ничего тебе напротив не делать. Обещанья моего не нарушу.

В углу на окне стояла чернильная баночка, лежало перо; я перо взяла и поскорей на той бумажке расписалась; не препятствую, мол; а сама уж не стерпела, горько заплакала.

Гляжу – становится он передо мной на колени, поклонился в землю, сам плачет. Потом встал, обнял меня.

– Паша, – говорит, – веришь ли, вот как жаль тебя! И, кажется, если бы только можно было отказаться... Ты Бога ра-

ди прости меня. И вот десять рублей, последние мои деньги, потому теперь тебе скоро надо. Когда будешь больная, пришли ко мне Платона; я приду и денег принесу. Я и после женитьбы готов тебе всегда помочь. Но денег я не взяла.

– Господь с тобою и с твоими деньгами, Николай; только бы ребенок остался жив, – это для меня дороже всего; а помощи твоей я и теперь не приму, и после женитьбы не надо.

Обнял он меня, не пускает; и долго мы так стояли, плакали оба; наконец распростились навек.

После я узнала, что до священника в его приходе дошел слух обо мне – он венчать не соглашался; для него у меня Николай и взял расписку.

Митя потом смеялся надо мной, зачем я дала; он меня совсем за дуру считал.

VIII

Я затосковала. Сидишь одна, и дела никакого нет; хоть бы что-нибудь работать, все бы веселее.

– Знаешь что? Поступай-ка на место, – говорит мне раз Даша. – Тут – на нашем же дворе, генерал прислугу ищет. Я тебя порекомендую. А придет твое время – он на неделю-то отпустит к акушерке.

Я подумала – и согласилась.

Новый мой барин, генерал, был вдовец, пожилых уж лет и из себя очень смешной: ножки коротенькие, сам толстенький, усы торчком. На голове почти что вовсе ничего не росло, а лицо и утром, и вечером – все одинакового цвета: красное.

Он со мною часто разговаривал.

Придет после обеда или вечером на кухню, сядет передо мной, улыбается, усами шевелит, головой покачивает.

– И как это вы могли в казне с собой такую штуку устроить?

Я рассержусь.

– Да очень просто!

И больше он от меня ни слова не добьется. А то еще фотография у него была, все он карточки снимал; только проку мало было, портил больше. Устроил себе такую будочку темненькую, красный фонарь там зажжет и сидит, тарелку

с водой качает, а в воде какое-то стекло. Часто меня туда с собой звал.

– Пойдемте, – говорит, – я вас научу, как это делать.

Раз, вижу я, болтал он тарелку, болтал, потом болтать бросил, лезет ко мне в темноте...

Тут я совсем рассердилась, толкнула его, из будочки поскорей вышла.

Зовет он меня потом как-то опять учиться фотографии, а я нейду.

– Не женское, – говорю, – это дело, не нуждаюсь я изучать никакую фотографию.

У генерала мне все-таки легче было, чем вовсе без работы, и подруги навещали; особенно одна, Аня, часто забегала; она в фельдшерской школе училась, жених подвернулся, свадьбу назначили, так Анна все ко мне приданое шить ходила.

Приближалось время моей болезни; только я об этом совсем мало думала, – не верила, что скоро.

Генерал сам в Обуховскую больницу ездил узнать, принимают ли, есть ли места.

Приехал назад – во всякое, говорит, время дня и ночи принимают, будьте спокойны.

Ну, я и жду. Коли, думаю, начнется что – я живо до больницы добегу.

Как-то утром – убрала я комнаты, кофе сварила – и стало мне скучно; однако ничего, часу в двенадцатом генерала

снарядила – уехал. Тогда чувствую – хуже мне. А все-таки не думаю ни о чем, хожу по комнате, в больницу и не собираюсь. Может, так, поболит, да и пройдет.

Уж два часа пробило, я и обед не готовлю, не могу. Вдруг идет Анята.

– Что это с тобой?

– Не знаю, болит как будто; хожу – так легче, может, пройдет.

– Да что ты, сумасшедшая, одевайся скорее, пойдем в больницу. Пойдем, пойдем, нечего; еще здесь на квартире беда случится. Скорее одевайся, а я Дашу в комнаты позову.

Кликнули Дашу, я в узелок кое-что связала, денег было немного – с собой взяла, отправились мы. Обуховская на Загородном, а мы от угла Загородного через два дома жили, по Верейской. Дошли. Спрашиваем: принимают?

Вышла к нам «крестовина», сестра милосердия от Красного Креста.

– Я, – говорит, – не знаю; у нас таких больных не принимают, я не могу. На то родильные есть.

Анятка рассердилась.

– Да я и разговаривать-то с вами не хочу! Вы права не имеете, вы должны принять!

– Я ничего не могу. Подождите, скоро дежурный врач придет.

Сели мы, ждем; я едва-едва сижу, худо мне. Наконец приходит доктор.

– Нет, – говорит, – вы идите в Надеждинскую. Сюда вас принять нельзя. А до Надеждинской вы еще дойдете, вам полезно ходить.

Делать нечего, мы вышли. Только до угла Гороховой дошли – не стало моих сил.

– Нет, – говорю, – Анята, дальше не пойду, как хочешь. Она задумалась.

– Да постой, вот часть напротив; а при каждой части объяваны три-четыре кровати иметь. Я сейчас узнаю.

Сбегала она – нету, говорят.

– Что делать? И Анята моя приуныла; а мне все хуже, да хуже.

Стоим мы на углу; я к дому прислонилась, кругом смотрела. Мне не страшно было, только удивительно, отчего все так по-старому идет, точно и ничего? Вон разносчик с апельсинами, мальчишка почтовую бумагу продает; франт какой-то проехал с барыней, обернулись, на меня взглянули. Народ мимо спешил, иные, кому делать нечего, останавливались; интересуются, что со мной дальше будет. Постоят, видят – ничего пока, пойдут своей дорогой.

Одна женщина долго стояла, пригорюнившись, смотрела; потом, спасибо ей, говорит:

– Вот здесь, по Гороховой вторые ворота, акушерка живет; она примет.

Обрадовалась Анята, поблагодарила, повела меня. И у меня точно силы прибавилось.

Дворник чистенький, мощный, указали нам дверь – акушерка жила в первом этаже.

Она сама нас встретила – полная женщина, низенькая, с проседью и по-русски одета, кофта прямая. В зальце у нее на окнах герани стояли, висели занавески белые кисейные.

Мне хоть и худо было, а я всякую малость замечала в то время, после сама удивлялась.

– Так и так, – говорит Аня: – вот больная; ее нужно скорее в постель положить.

– Это все будет, только у меня за прием семь рублей полагается, чай, сахар, булки – отдельно.

Скажи она мне тогда не семь, а пятнадцать рублей, и то бы я осталась, дальше бы не пошла.

Увела она меня; Анюту я домой прогнала; лучше, мол, после придешь.

Через час мне Бог дал сына.

Выкупала его акушерка, убрала и говорит мне:

– Мать, принести тебе сына? Я говорю:

– Ну, дайте посмотреть.

Маленький такой, красненький, глазками едва смотрит. Жалко его.

На другой день, в субботу, окрестили, Колькой я его назвала, а в воскресенье уж надо было везти в Воспитательный.

Утром, вижу – собирает бабушка Кольку в путь-дорогу. Завернула в одеяло, подала мне на кровать проститься, сама вышла.

Он точно все понимал, смотрит мне прямо в глаза, не плачет. Он у меня полненький был, на голове волосы совсем белые. Бабка его так и прозвала: «Колька седой». Я все вглядывалась в него, точно запомнить его хотела, все приметочки рассмотрела, волоски белые целую, сама плачу. Наконец благословила его, три раза перекрестила: – Христос с тобой, детка, поезжай с Богом! – И отпустила. Бабка увезла.

IX

С того дня я все ждала и дожждаться не могла, когда можно будет уйти от акушерки, чтобы навестить Кольку.

К генералу явилась еще совсем слабая, больная. В первую же пятницу отправилась в Воспитательный. По дороге кое-что мамке купила: сахару, булку французскую. Подъехала ближе – упало у меня сердце: может, уж и помер.

Через двор прошла, мимо садика; в прихожей швейцар стоит, в красное одет.

– Раньше, – говорит, – двух часов не пускают, подождите. Тут уж много женщин дожидалось, и лавки все заняты.

Отошла я к сторонке, села на окно, жду. Прихожая просторная, только невысокая; колонны серые кругом. Около моего окна, на скамейке, сидели три женщины; тоже к детям своим пришли, видно: все с узелками, да с мешочками. У самой стены, прижавшись, сидела, должно быть, швейка; некрасивая, бледная, белокурые волосы гладко подобраны под розовый гарусный платок; смиренная такая, робкая, все молчала. Мне понравилась крестьянка, со швейкой рядом: лицо длинноватое, строгое и приятное. На другом краю скамейки, ближе к дверям, сидела либо кухарка, либо экономка какая-нибудь, круглолицая, нестарая. Под полый своего широкого салопя с потертым меховым воротником она прятала крошечный узелок, а глазки так и бегали. Она что-то расска-

зывала крестьянке, та со вниманием слушала.

«И подала она, мать моя, прошение, – говорила женщина в салопе, – подала она прошение, так и так, значит, у меня трое детей, он не исполнил. И чтобы его не венчать. Только накануне подала, а на другой день слышит – у Покрова свадьба, его, значит, венчают. Она забрала ребятишек – туда. Ей бы как чужой прийти, притаиться: ну, пришла – пришла свадьбу смотреть; а она нет, плачет: „Скоро ли, – говорит, – мой изменщик приедет?“ Ну, прослышали это и велели ее вон вывести, за ограду. И только, значит, душеньку-то прежнюю за ограду вывели – невеста и въехала!..»

– И что ж, и окрутили? – спросила крестьянка.

– Окрутили, мать моя, окрутили! Я уж ей говорю потом: «Дура ты! ну, куда ты теперь...»

– Детей из Надеждинского родильного привезли, – сказал кто-то около меня.

В соседнюю комнату, «прием», прошли закутанные женщины. Двери «приема» были стеклянные – все видно насквозь. Я стала ближе.

Я видела, как маленьких клали на весы, дама у стола записывала что-то; бумажку уносили вместе с ребенком.

– Батюшки, никак двойни! – вскрикнула за мной одна женщина.

Гляжу – лежат на весах два, маленькие, голенькие, совсем одинаковые. Так их вместе и унесли.

Наконец пробило два. Кругом все закопошилось, верх-

нюю одежду стали снимать. Экономка спешила пробиться вперед и толковала барыне в высокой шляпе, что богатые чаще бедных сюда детей подкидывают от зазора, либо от лени, и что им на том свете «отольются детские слезы», а сама на барыню смотрела, точно про нее говорила. Барыня стыдилась, хотела уйти, но экономка не отставала.

Мы поднялись по широкой лестнице в палаты. Чисто так, светло; по стенам стоят мамкины кровати, а между ними люльки с зелеными навесиками; по три, по четыре люльки, у какой мамки сколько детей. Два стола, направо и налево, где маленьких пеленают, называют «парадными» столами. На кроватях нельзя пеленать – они такие высокие, горбатые, точно гробы, тканьевым одеялом сверху закрыты. Мамки ходят простоволосые, темные сарафаны ситцевые, старенькие, видно. В люльках подушки соломенные. Я думала, что вот и я в такой люльке спала, и я здесь провела свои первые дни.

Я показала билет. «Ваш, – говорят, – жив, здоровенький, в шестой палате». Я перекрестилась: слава Богу! и пошла. Иду, ищу, сразу-то не найду. В одной палате подошла к парадному столу: не здесь ли? «Это четвертая палата», – говорят. Хотела уж дальше идти – смотрю, одна мамка кладет на стол ребенка: желтый такой и словно опухший.

Что это? От чего такой желтенький?

– Да помирает, – говорит мне мамка. – Уж он давно мается. Ну, Христос с ним.

Взяла тряпочку, под подбородок ему положила, чтобы

слюни на пеленку не попали. Он так легко умер, скоро. Вздохнул раза три глубоко, глазки закрыл, потом тихо-тихо открыл – и кончился.

Колин номер был 5311-й. Я как вошла в шестую палату, сейчас увидела – на дощечке написано: Николай Александрович. Он у мамки на руках спал.

Я взяла его, села на скамейку: он самый, он, вот и волоски его беленькие, и на ушке родинка.

Бедный ты мой, бедный! каково-то тебе здесь живется?

Мамка рассказывала, что он смирный, не плачет.

– Не то что вот девочка у меня, такая крикунья; ну, да она больная, голова растет, а тулово не растет, худеет.

Девочка заплакала.

– Ишь ты, обиделась! – сказала мамка. – Полно уж, ничего, поправишься.

Я мамке отдала гостинцы, 20 копеек денег; и девушке дала полтинник, чтобы мне выбрали мамку получше, когда его отправят в деревню. Перед самой отправкой фельдшернице пришлось последние три рубля отдать.

Накануне, как ему ехать, я пришла в Воспитательный: ему уж на шейку пломбу надели: круглая такая белая косточка, где его год и номер вырезаны. Шнурок-то короткий, шейку режет, узел печатью свинцовой припечатан, не развязывается.

Я сидела, на руках его качала: не мой ты уж больше, ты теперь под казенным номером. И знать меня не будешь, ко-

гда я навестить приеду. Прощай, деточка моя, запечатанная!

X

Я считала дни, недели, думала, вот он теперь уж смеется, имя свое знает. Мне из деревни писали, что он здоров, растет.

К генералу моему приехали пасынки, молодые люди, веселые такие, над стариком все потешались. А он фотографией занимался, да манную кашу к обеду заказывал, чтобы подешевле.

Только стала я замечать – уж очень он ко мне ласков: и то, и се, и книжки дает, и гулять посылает, покупает апельсины.

Ну – я ничего.

Как-то, поздно вечером, входит ко мне генерал и вдруг начинает разные глупости говорить, подарки мне обещает, жалованья пятнадцать рублей...

Я страх как рассердилась, кричу ему:

– Извольте выйти вон! Я к вам в прислуги нанималась, а не что-нибудь! Ничего мне от вас не нужно. Уж вы думаете, что если раз человек проступился, так он никакого благородства не может понимать! Пожалуйте в комнаты, а я Саше и Ване все расскажу.

Он испугался, что пасынки узнают.

– Ничего, – говорит, – ничего... Я так... Я уйду... Все-таки с того раза начал он ко мне очень приставать.

Я уж и уйти думала, да без места оставаться – Кольку

жаль, нечего ему в деревню послать.

Говорила я Даше о моем горе. А тут как раз ее господа из Москвы приехали, квартиру искали.

– Вот, поступай на мое место, – говорит Даша. – Меня все равно муж домой в деревню посылает. Я тебя порекомендую.

С барыней мы скоро уговорились. Молодая такая барыня, точно девочка; платьице коротенькое и коса светлая за спиной. Барин вышел. Тоже молоденький еще, маленький, черноватый; только нос длинный и виден. Курточка синяя наде-та. Посмотрел на меня – вижу, ничего, веселый барин.

Всего их двое; служба, думаю, не тяжелая будет. Перебра-лась я на новое место.

У господ мопса была, и зайца в корзинке они с собой при-везли. Потом этот заяц по черной лестнице убежал – так и пропал. А мопсу я полюбила, она со мной и спала. Госпо-да часто уходили в гости, мне с мопсой и веселее. Встава-ли поздно; напьются кофею – сейчас барин в свою комнату, двери кругом запрет и начнет наискось, от угла до угла, бе-гать, а сам громко ворчит и руками размахивает.

Нижние жильцы стали жаловаться, беспокойно им, спра-шивают: болен у вас барин? А он поворчит-поворчит, в кни-жечке маленькой немного попишет и кличет барыню: «Со-ня! Где ты? Поди сюда!»

Придет барыня, сядет – и сейчас же он ей что-то выпевать начнет; мало понятно, гул один. Кончит – и спрашивает ба-рыню:

– Ну, как, хорошо ли?

Та скажет: «хорошо», а иной раз: «нет, говорит, мне это не нравится, вот тут-то и тут-то плохо».

Барин сейчас книжечку об пол, сам на диван ничком, и кричит:

– Что же теперь?! Ну, что делать? Нет, вижу, ничего я не могу, ничего!

Потом уладится как-нибудь, барыня в гостиную уйдет, а он опять бегаёт и ворчит про себя.

Узнала я, что барин наш – сочинитель. Нижним жильцам толкую: он не болен, он сочинитель, ему нельзя, чтобы не ходить.

– А, сочинитель! Коли сочинитель, – говорят, – так уж что ж делать, уж пусть.

А один студент внизу был, сердитый такой, кричит:

– Мне наплевать, что сочинитель! Он мне заниматься мешает! Сочинитель! Верно, и не сочинил еще ничего!

– Вот и неправда, – говорю ему, – целую книжку сочинил, все стихами; у них на столе и лежит.

Помню, я комнаты убирала, в баринову книжку заглянула, страницы две прочла – нет, непонятно! Я многих сочинителей стихотворения читала – очень хорошо! И понятно. Только и наш барин не из плохих был; он каждый понедельник в собрания ходил какие-то, а в том доме у меня лакей знакомый, так говорил, что там все самые умные сочинители бывают, и наш барин тоже умный, говорить с ним хорошо.

Барыня никогда не сердилась, разве мопса потеряется; барыня мопсу как дочь любила. Ну, барин, правда, сердился, только больше когда ему посыльный свертки приносил. «Опять не приняли, – кричит, – безобразие! Какое непонимание!» Тогда уж и не подступайся – все не по нем, все неладно.

А так – они веселые были, бегают по комнатам, ловят друг друга, смеются – точно дети.

XI

Прошло полгода. Я все думала, как бы мне сынишку вырастить, он один у меня на радость остался. Из деревни писали прежнее – здоров, растет. И захотелось мне его навестить. Ноябрь был, осенняя погода; но, думаю, ничего, не беда. Я барыне сказала.

– Ну, что ж, – говорит, – поезжайте, только нельзя ли нам на эти дни кого-нибудь вместо вас.

У меня знакомая была, Саша, жила недалеко. Сбегала я к ней – обещалась прийти двенадцатого числа. А пока я Коле стала обновки готовить: рубашонку ему теплых бумазейных нашила, связала чулочки пуховые, смастерила чепчики из лоскутков разноцветных.

Двенадцатого утром всего накупила: чаю, сахару, хлеба полубелого, ситцу мамке. Совсем собралась, а Саша не пришла. Нельзя ехать. Ах, ты, Господи, думаю, вот несчастье! Досадно мне стало. Пошла к Саше. А она была совсем глухая.

– Что же ты? – спрашиваю.

– А нешто нынче двенадцатое? Я не знала. Ну, ладно, к вечеру приду; завтра поедешь.

На другое утро я поехала. День был серый, пасмурный, в десятом часу едва рассвело. С неба падал не то снег, не то дождь. Мне грустно и страшно было: может, не писали, а он

болен. И я думала, что всякое горе лучше, чем так мучиться, не зная.

На станцию мы приехали только в половине третьего. Вышла я из вагона, наняла извозчика: вези, говорю, голубчик, поскорее, уж темнеет. Минули мы большое село, вот лес, а за лесом и Пежевицы видны. У меня сердце упало, сижу как мертвая, ничего не думаю.

Наконец въехали в деревню.

– Вот и Пежевицы, барышня, – сказал мужик. – Который дом-то?

– Павла Петрова... я не знаю... где?

– А вот он, с того конца третий дом, новый.

Мы подъехали к воротам. Я сняла с телеги сундучок с подарками, на землю поставила. Из окна выглянули три белые детские головки.

Отчего не выходит хозяин или хозяйка, думаю себе. Я не знаю, куда идти, пусть покажут! Надо же встретить меня; за чем найдут?

Дверь закрипела.

Мужчина лет тридцати стоял на ступеньках крыльца. Он слегка приподнял фуражку, молчал и смотрел на меня. Я взялась одной рукой за край тележки.

– Что, Колька жив?

– Нет... помер, – сказал мужчина.

– Как помер? Когда помер?

– Да вчера вечером.

Я смотрела на него. Я не верила.

– Зачем вы лжете мне, пугаете меня? Оставьте, я и так чуть жива.

– Нет, вправду помер. Вот повезли в лазарет на освидетельствование; скоро теперь назад привезут.

Тогда я поверила. Тихонько вошла в избу, стала перед образами, в землю поклонилась. Не плачу и не хочу плакать. Должно быть, я не достойна была его увидеть. Если бы накануне поехала, как собиралась, еще застала бы. Не допустил меня Господь.

– Когда он заболел-то? – спрашиваю. – Отчего вы мне не писали?

– Он только вчера и заболел, и сейчас же помер. А вас мы все поджидали. Что, думаем, мать не едет на сына любоваться, какой он большой стал да веселый.

Я села на лавку, к окну, молчала; ребятишки тоже молча ютились в уголку. Тихо было в избе; только тараканы шуршали за образами. Не знаю, сколько времени прошло. Один из мальчиков робко встал, вышел. Стемнело. В окно едва чернела дорога, по деревне засветились огни. Мальчик скоро вернулся.

– Кажись, мать едет с Колькой из лазарету, – сказал он негромко.

Я пошла на крыльцо. Мамка подъехала, слезла; смотрю, берет Колю из тележки – в одеяло с головой завернут, холодный, твердый...

И вдруг я горько заплакала. Обхватила руками крылечный столбик, головой к нему припала, плачу, утешиться не хочу.

Мамка тоже заплакала.

Вошли мы в избу, мамка Колю на кровать положила – большая, двуспальная у них в углу стояла. Я открыла его, плачу, целую; лежит бедненький, губки слиплись, и глазок ему не закрыли.

Всю ночь я не спала. В два часа гляжу – встает хозяин: «Надо, – говорит, – Коле домик строить». У него доски были с вечера приготовлены. Ну, он умылся, помолился, стругать начал; ребятишки повставали, помогают ему. Хозяйка огонь развела, блины стала печь.

К трем часам гробик был готов. Мамка мне три веника принесла; я листья ощипала, в гроб их положила, чтобы Кольке мягче было лежать, а сверху накрыла полотенцем. Мальчик мой хорошенький лежал; я его и мертвого любила; кабы можно было, так и хоронить не стала бы.

Утром хозяин к священнику пошел; нельзя ли, спрашивает, сегодня младенца схоронить?

Священник сразу отказался.

– Я не могу, я на праздник еду, в село, вот тут, недалеко; у меня девять покойников – всех просили, чтобы сегодня схоронить, я и то отказался.

– Так, батюшка, так; да родная мать приехала, нынче вечером обратно должна; уж нельзя ли как-нибудь?

Услыхал поп, что родная мать, – согласился.

– В три часа, к вечеру, приходите, я буду дома, а теперь вот и лошадь мне подана, в Роготино ехать.

В три часа приехала я к нему и гробик привезла. Он действительно уже дома был, попросил меня к себе.

Только что я открыла дверь – он из комнат выходит, высоко руку держит, благословил меня. Спросил, как мое имя.

Я сказала.

– Ну вот, Прасковья Александровна, вы просили, чтобы вашего младенца непременно сегодня похоронить...

– Да, – говорю, – я на месте, дольше остаться не могу...

– Так, пожалуйста в церковь; я уж послал за сторожем; сейчас и сам туда буду.

Я взяла гробик на руки, понесла к церкви – заперта церковь. Стою я, к зеленой железной двери головой прислонилась; темнеть начинало; ветер шевелил байковый платок, я им гробик закрыла. Долго мы с Колей ждали. Наконец, вижу, идет священник, а навстречу ему и сторож, папироска в зубах. Ну, батюшка сейчас на него закричал, как он к нему с папироской являться смеет; тот ему в ответ, что я, мол, не меньше вашего понимаю и все такое. Ссорятся. Священник рясу подобрал высоко, идут оба к нам. Наконец, и у самой церкви, а все не унимаются. Сторож ключом в замок не попадет, а батюшка мне его бранит:

– Каков, пьян!

В церкви пахло сыростью, было еще холоднее, чем на ули-

це. Я поставила гробик на маленькую скамеечку посередине, перед алтарем, сняла крышку, в головах прилепила свечку тонкую, восковую.

Прошло немного времени, вышел священник из алтаря, и прямо к сторожу:

– Где псалтырь?

– А я-то почему знаю?

– Опять твоих рук дело...

Голоса их громко раздавались по церкви; я ждала; сторож не унимался. Тогда я подошла к нему:

– Вот тебе двугривенный, – говорю, – замолчи ты! Ну, он утих немного.

Наступили сумерки. В церкви темнело. Только свечка освещала гробик. Мой мальчик лежал такой бледный и маленький посреди церкви. Сторож зажег лампадку перед образом Божией Матери. Кое-где засияли серебряные ризы на иконах. Лик Богородицы светился, а наверху, под черными сводами, сделалось еще темнее.

Священник начал читать.

Я стала на колени. Помню, сначала мне было очень так горько и обидно, что сторож грубил, и так не хорошо было на душе, что я и плакать не могла.

Священник читал громко и внятно; я любила св. Писание, у меня свой был псалтырь, и я даже иные места на память знала. Понемногу я начала вслушиваться в святые слова.

Я подняла глаза и увидела лик Божией Матери, освещен-

ный лампадкой; он один в темной, большой церкви казался таким добрым и светлым. Я смотрела на Святого Младенца на руках у Матери: он был живой, щечки розовые, веселый... А мой лежал с закрытыми глазами, холодный, желтый...

Я молилась, чтобы Божия Мать облекчила мое горе; мне казалось, что она смотрит на меня ласково, жалеет меня.

И вдруг я подумала: ведь и мой мальчик, может быть, теперь счастливый и живой у Бога. Мне стало легче; я забыла и сторожа пьяного, и темную могилу, куда сейчас положат Колю, и мою обиду – все забыла; я припала лицом к холодному полу; слезы полились у меня, отрадные и тихие.

А священник читал:

«...Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых. Ибо у Бога все живы...»

И я старалась верить этим словам.